



Генри Лайон
ОЛДИ

БЕЗДНА
ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ

КЛАССИКА ФИЛОСОФСКОГО БОЕВИКА

Бездна Голодных глаз

Генри Олди

Живущий в последний раз

«Автор»

1992

Олди Г. Л.

Живущий в последний раз / Г. Л. Олди — «Автор»,
1992 — (Бездна Голодных глаз)

Девять жизней в запасе у каждого, но всего лишь одна у несчастного уroda, увидевшего свет в последней, нечаянно удачной, попытке состояться. Один за другим уходят боги, вливаясь в душу Сарга-Мифотворца. Только так можно подхватить, удержать, поднять крышу Дома-на-Перекрестке, готовую в любой момент рухнуть на наши головы.В о цикле «Бездна Голодных глаз»

© Олди Г. Л., 1992

© Автор, 1992

Содержание

I. Ad infinitum[1]	5
Чет	5
Нечет	7
Чет	8
Нечет	11
Лист первый[2]	12
Чет	13
Нечет	16
Лист второй	18
Чет	20
Нечет	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Генри Лайон Олди

Живущий в последний раз

*В прах судьбою растертые видятся мне,
Под землей распростертые видятся мне,
Сколько я ни вперяюсь во мрак запредельный:
Только мертвые, мертвые видятся мне...*

Омар Хайям

I. Ad infinitum¹

*...И я ушел, унес вопросы,
Смущая ими божество, —
Но выше этого утеса
Не видел в мире ничего.*

Н. Гумилев

Чет

Мне не повезло. Я родился уродом.

Говорят, что толстая крикливая повитуха из соседней деревни, принимавшая роды у моей измененной матери, в страхе выронила пискливого младенца, пухлую ручку которого окольцовывало девять браслетов – от тоненького ломкого запястья до плеча. И лишь густой мех валявшейся на полу шкуры спас Живущего в последний раз; но ни разу не испытывал я благодарности к зверю, носившему некогда эту шкуру.

Равнодушие – да, ненависть – бывало, а благодарность... В конце концов, подобных себе чаще ненавидят, а звери, летающие или ползающие, также жили в последний раз. Подобно мне. Я был уродом.

В годовалом возрасте я впервые надел чешую. Но не ту, радужную чешую шеи древесного ужа, растягивающуюся почти в пять раз от первоначальных размеров и поэтому идущую на Верхние браслеты, – нет, моя мать выбрала в куче отходов на дворе змеелова Дори серую, блеклую шкурку туловища; и дымчатый чехол прочно обнял мою правую руку, до того незаметную под длинным рукавом рубахи. Я не знаю, из каких глубин прошлого дошел до нас обычай стесняться Нижних браслетов, только любой из Вернувшихся незамедлительно прятал свежий рубец под узенькой полоской чешуи. И не мне доискиваться до истоков обычая, не раз спасавшего меня от досужего любопытства.

Лишь любовники иногда спали с обнаженными руками; и лишь старики осуждали их за это. Я знаю, я чаще сидел со стариками, чем кто бы то ни было, но...

Но для детей стыд – понятие умозрительное, выдуманное назойливыми взрослыми, и маленький Би, сын охотника Ломби, так и не уговоривший меня прыгнуть с Орлиного Когтя на мелководье, увидел весь ужас моих девяти колец. Пока я судорожно застегивал чехол, стря-

¹ До бесконечности (лат.).

хивая с ресниц набегавшие злые слезы, Би катался по гальке, хрюкая от восторга; и потом понесся вдоль гребня, сбрасывая на ходу одежду, распевая тут же сочиненную песенку о дрожащих бесхвостых обезьянах, – пока прыжок с выступа не оборвал наивную детскую жестокость. Третья волна вынесла изломанное тело веселого Би на берег, и там он лежал до утра, потому что пьяненький папаша Ломби отказался идти за ним, да и к чему вставать из-за стола, когда с восходом солнца Би вошел в ворота своего двора, машинально почесывая зудевшую полоску Второго браслета.

Еще одна древесная змейка окончила свой извилистый путь в груде отбросов, отдав радужку вернувшемуся Би, и долго еще он не приближался к скалам, повинувшись извечному страху Уходивших. А во всем остальном...

Дети жестоки, и бесстыдны, и бессмертны, ибо девятка для детского разума близка к бесконечности; а гордость нового браслета, право выйти на дорогу в Город, зарождающаяся мужественность – все это с лихвой перекрывало страх перед болью, грязью, причиной Ухода. Дети бесстыдны и бессмертны, а я состарился, выходя из кричащей матери, состарился, падая из рук повивальной бабки, и я никогда не обижался на любые прозвища, при всем богатстве ребяческой фантазии сводившиеся к одному понятию – ТРУС.

Я не был трусом. Я был смертником. Я жил в последний раз, и это читали в моих глазах отворачивающиеся дети, считавшие себя бессмертными.

Нечет

... Два мальчика стояли на утесе. Верхняя скала его хищно изгибалась над побережьем, и любопытные пальцы разбивающихся о камни волн не дотягивались даже до половины морщинистой громады. Солнце, уставшее от нескончаемой дневной жары, тонуло в плавящемся море, окрашивая воду, скалы, дерущихся птиц и две фигурки на утесе в цвет обгоревшей кожи. Мир слишком долго был в огне, мир надо было смазать сметаной; и, может быть, поэтому, когда высокий тонкий мальчик отрицательно покачал головой, казалось, что он испытывает пронзительную боль от своего движения, собравшего кожу шеи и плеч в упругие складки. Почему? Это слово и было все, что осталось от вопроса приземистого рыхлого собеседника, вопроса, утонувшего в мокром шуме гибнущих волн.

Вместо ответа высокий стянул с правой руки узкий темный чехол, тускло блестящий на сгибах, и поднял руку вверх. В лучах заката выгнула кольца свои пятнистая змея, и девять изгибов ее тела текли по запястью, сжимали локоть, уходили вниз по тощему бицепсу. Спрашивавший недоуменно скосил черные заблестевшие глаза на собственный радужный виток браслета у кисти, перевел взгляд на голую руку приятеля, и хохот его едва не перекрыл гул моря. Он присел, хватался за коленки, исцарапанные и шелушащиеся, и неслышно выкрикивал мальчишеские колкости, терявшиеся в высоте утеса, но не становившиеся от этого менее ядовитыми.

Внезапно успокоившись, смешливый смахнул соленую влагу с век, скинул одежду и, бросив в сторону отказавшегося две-три холодные реплики, прыгнул вниз со скалы.

Высокий мальчик застегнул чехол и стал смотреть на мокрую гальку берега. Дождавшись вздыбленной волны, на спине которой море вынесло веселого прыгуна, он подошел к краю утеса и наклонился над такой притягательной бездной.

– Я урод, – сказал не прыгавший во внезапно наступившей тишине, – и, пожалуй, я смертник. Но я не трус. – Он отошел от края, облизал узкие губы и, не оборачиваясь, побрел по тропинке, ведущей к селению. Он не остался и не мог видеть тело, всю ночь пролежавшее на берегу; и не мог видеть, как утром приземистый мальчик встал и направился домой. Иногда мальчик останавливался и с гордостью рассматривал свою руку, схваченную теперь двумя браслетами – радужным чешуйчатым витком с яркой застежкой и почти черным рубцом, подобным ожогу. Потом, спотыкаясь, он продолжал идти дальше. Домой.

Чет

*Я вижу, я помню, я тайно дрожу,
Я знаю, откуда приходит гроза,
И если другому в глаза я гляжу —
Он вдруг закрывает глаза.*

К. Бальмонт

Я продирался сквозь отчаянно сопротивляющиеся ветки, путаясь в липкой противной паутине, отворачивая лицо от хлестких ответных ударов и косясь на подворачивавшиеся под ноги муравейники; лес играл со мной, а я дрался с лесом – и пропустил мгновение, когда на дороге показался он. Дорога в Город была вечным ориентиром детских скитаний, нам строго запрещалось отдаляться от нее, и никакая голубая терпкость заманчивых ягод не властна была нарушить запрет; дорога в Город, мощеная неширокая дорога, и по ней идет возникший из ниоткуда шатающийся юноша с безвольно повисшей тяжестью белых рук, и багровая лента тянется за идущим, тенью повторяя каждый оступающийся шаг, – чернеющей, бурой тенью.

Он поравнялся с кустарником, скрывавшим меня, и с трудом повернул всклокоченную голову. Его пустой, рыбий взгляд бросил меня в лес, дальше, глубже, ломая резко пахнущий подлесок, секачом вздыбливая сизый мох, дальше, глубже, лишь бы не видеть кричащие зрочки, тонущие в блестящей мути белков; не видеть гору юных мышц, отдающих последнее в усилие каждого шага; не видеть двух плетей с тонкими пальцами и глубоко перерезанными венами, перехваченными острым кривым ножом – вакасаи старейшины деревни, запястий, за которыми и волочилась по щебенке кровавая липкая змея...

Я знал обычай, закон, по которому сильнейший в деревенских состязаниях безропотно подставлял запястья под ритуальный нож и выходил на дорогу в Город. И если он протянет след своей нынешней жизни до последнего поворота прежде, чем уйдет в темноту, то его – Вернувшегося, надевшего следующий браслет, вышедшего к утру – будут ждать имперские вербовщики; они наденут ему Верхний браслет, как минимум третий, и уведут в гвардейские казармы. А там лишь от дошедшего будет зависеть судьба пешего лучника, или судьба тяжелого копейщика, или судьба Серебряных Веток – вплоть до корпусных саларов и сотни Личных хранителей последнего тела Его. Мечта всех мальчишек и вечная тема проклятий стариков, по два-три раза уходивших и вновь возвращавшихся в свою морщинистую ворчливую старость.

...Лес сомкнулся вокруг меня, он продолжал играть, и в круговороте мокрых запахов всплыл неожиданный и неуместный привкус живого огня; и я пошел на него, успокаивая дыхание, гоня прочь призрак пустого, тонущего взгляда Идущего по дороге. Запах усилился, в него вплелась нить каленого железа – ошибиться я не мог: мы жили рядом с кузницей; металл, ветки и обрывки разговора, услышанные раньше, чем я сообразил остановиться и замереть.

– ...в виду: не более двух ночей. И я боюсь, что он не продержится даже этого срока.

– Я понял тебя. Но больший срок вряд ли понадобится мне. Я знаю, что делаю. И делаю лишь то, что знаю.

– Ты любишь шутить. Это правильно...

Костер горел на большой закрытой поляне, а у костра стоял молодой атлет в холщовой набедренной повязке, и вывернутые в застывшей улыбке пунцовые губы, казалось, отражали мечущееся пламя костра. Приятное выражение лица адресовалось пожилому нищему, юродивому, отлично известному в селении под кличкой Полудурок, нищему, никогда не снимавшему засаленный дурацкий колпак с бубенчиками, предмет вожделений всей детворы. Правда, сейчас колпак был снят, он валялся рядом с потрепанной котомкой, и я удивился лысине Полу-

дурка, переходившей в жиденькую пегую косичку волос на затылке. Длинными кузнечными клещами юродивый выдернул из огня широкое металлическое кольцо, атлет ловким движением вставил руку в дымящийся обруч, и Полудурок клещами сжал концы. Когда раскаленный металл обнял человеческое тело, я сполз в кусты, сжимая голову, корчась от чужой боли, в ожидании вони паленого мяса, рева, огня, страха...

– Ты бы вышел, Урод, а?.. Если так сопеть в кустах, то твоего крохотного носика может не хватить на нечто лучшее. Давай, хороший мой, покинь кущи...

Не осознавая происходящего, я покорно продрался сквозь колючие ветки и сделал один шаг к Полудурку, ехидно на меня косящемуся. Ехидно, весело – но не злобно; а именно злобы и ожидал я, горбясь и поворачивая голову.

– Хороший мальчик, – пробормотал юродивый, и атлет оторвался от созерцания полоски на предплечье – блеклой розовой полоски, хотя огненное кольцо должно было сжечь руку до кости. – Хороший мальчик, – повторил нищий, и атлет шагнул ко мне, зажигая в чуть раскосых глазах недобрые красные отблески. – Очень хороший мальчик. – Полудурок предостерегающим жестом вскинул рваный рукав своей куртки. – Знаешь, Молодой, ты пойдешь на поцелуй Гасящих свечу, но сделаешь все, чтобы мальчику этому по-прежнему было хорошо...

– Хороший мальчик. – Им обоим доставляло удовольствие катать на языке это словосочетание, но Молодой вкладывал в него другой, свой смысл, и эхо его голоса всполошило птиц в низких ветвях баньяна. – Отец начал любить мальчиков, он берет на себя большой хнычущий груз, больше, чем может снести. Твоя спина, Отец, привыкает гнуться, но это плохая привычка.

– Ты любишь шутить, – бесцветно протянул юродивый, по уши натягивая свой колпак и поворачиваясь к ухмылке приятеля. – Нужная привычка, лучше моей...

Их глаза столкнулись, лопатки маленького Полудурка вздыбились дикими лошадьми, и в ушах моих вспух далекий страшный визг, – наверное, кровь ударила в мягкие детские виски...

Гигант качнулся, запрокидывая голову, вжимая затылок в бугристые плечи; его руки взлетели вверх, красная полоса резко выступила на сереющей коже; а невидимая крышка неумолимо захлопывалась над ним, ломая колени, разрывая связки, расплющивая на лице гримасу умирающей улыбки.

– Все, Отец, – выдохнул он.

– Я понял, Отец, – шепнул он.

– Я больше не люблю шутить, – прохрипел он.

Тело его сползло на хрустящую траву, тяжесть растворилась в воздухе леса, потерявшем неожиданную плотность и тягучесть.

Юродивый лениво почесал бородавку на шее, обернулся ко мне, и одновременно с ним раздвинулись кусты, пропуская на вечернюю сизую поляну старого Джессику, нелюдимо знахаря Джессику, никому в деревне не отказывающего в своих непонятных травах и не более понятных советах.

– Отстань от мальчишки, варк. – Старик сжал мое плечо костистой ладонью, напоминаяшей лапу дряхлой, но хищной птицы. – Ты что, не видишь, он переел на сегодняшний день...

– Хороший мальчик. – С любимыми словами на лицо Полудурка вернулась привычная хитрая гримаса безумия. – Старый Джи проводит волчонка в берлогу, а еще старый Джи протрет слезящиеся глаза и возьмет мальчика в ученики; а если Джи не берет учеников, то он освежит съезжившуюся память о бедном Полудурке и очень злом капрале Ли, ушедшем однажды в последний раз, но до того любившем обижать бедного молодого Джи, сумевшего пережить нехорошего капрала и стать хорошим старым Джи, правда?..

...Уже держась за сухую руку Джессики и пытаюсь поймать ритм его неровной поступи, я осмелился задать мучивший меня вопрос. Нет, не пылающий обруч, не вспышка Молодого и не новое лицо юродивого врезались в детскую голову, нет, не они.

– Дядя Джессика, а кто был нехороший капрал Ли?

Звонкой затрещиной наградил меня старик и, когда просохли выступившие слезы, добавил хмуро:

– Имеющий длинный язык будет облизывать муравейники. Скажешь матери, чтобы завтра отпустила тебя ко мне. И еды пусть даст – я не собираюсь кормить болтливую обузу. Судя по твоим хитрым глазам, она не будет сильно возражать.

Обуза не возражала совсем, да и мать не возражала и вlepила мне вторую затрещину, когда я поинтересовался, кто такой «варк».

Третьей не понадобилось. Я больше не хотел облизывать муравейники.

Нечет

...Костер чадил, злобно плюясь трещащими искрами, облизывая металл кольца, покрытого изнутри сложным и беспорядочным орнаментом. Пожилой варк, из Верхних, с жиденькой косичкой Проснувшегося, дразнил бесившийся огонь, отдергивая вкусное кольцо и вновь подставляя его под жадные извивающиеся языки. Варк помоложе равнодушно наблюдал за его действиями, и багровый отсвет в раскосых глазах его вполне мог сойти за отражение костра – но и отвернувшись, он продолжал перекачивать под веками стоячий закатный сумрак.

– Скорее, – проронил Молодой. – Он дойдет до последнего поворота раньше, чем я смогу догнать его. Это сильный человек, и его густая кровь может течь долго. Я боюсь не успеть.

– Успеешь, Молодой. И имей в виду: не более двух ночей, двух полновесных лун. И я опасаюсь, что он не продержится даже этого срока.

Буркнув это, пожилой помахал в воздухе зажатым в клещах обручем, видимо, подтверждая сказанное, и сунул все обратно в радостный костер.

– Я понял тебя. Но больший срок вряд ли понадобится мне. Я знаю, что делаю. И делаю лишь то, что знаю... – Рука Молодого нырнула в подставленное раскаленное кольцо, и оно сомкнулось.

– Да. И поэтому я был против твоего приобщения. Но теперь ты встал, и разговор наш не имеет смысла.

Остывающий круг отлетел в шуршащие заросли, и хмурый пожилой варк проследил его пологую дугу.

– Ты бы вышел, Урод, а?.. Если так сопеть в кустах, то твоего крохотного носика может не хватить на нечто лучшее. Если юноша бродит в лесу один, он не должен дрожать и прятаться. Давай, хороший мой, покинь кущи...

Молодой варк порывисто шагнул к вышедшему на поляну трясущемуся мальчишке; он быстро учился всему, что надо, только сейчас это было не надо, и слов не хватило, чтобы остановить вновь Вставшего. Он и до последнего ухода отличался редкой самоуверенностью, мало кто решался вставать на его прямой дороге, – но та дорога кончилась, пошли новые дороги, их было много, они не были прямыми, и он не знал всех выбоин и поворотов.

Слов не хватило, и Вставший выдержал лишь немногие мгновения предложенного и принятого Визга зрачков. Жестоко? – разумеется; но необходимо. На открывшего тебе дверь смотрят распахнутыми глазами и отвечают коротко и внятно. А сузивший глаза и любящий шутить... Не всегда успеваешь понять, когда шутка закончилась и не последняя ли это шутка.

Хороший мальчик. Слишком хороший для такого простого Ухода. Старый Джессика позаботится, чтобы это больше не повторялось. Хороший старый Джессика, бывший некогда не таким уж старым. И не таким уж хорошим.

Лист первый²

*Мое дыханье тяжело,
И горек бледный рот,
Кого губами я коснусь,
Тот дня не проживет.*

Народная баллада

...увидел при ярком свете луны дочь Клааса, несчастного дурачка по прозвищу Песобой, ибо каждую встречную собаку он бил чем попало, крича, что проклятые псы украли у него все волосы и должны их ему вернуть.

Девушка эта нежно заботилась о своем отце и не хотела выходить замуж, говоря:
– Ведь он дурачок, я не могу его бросить.

И видя, как она добра, каждый давал ей, кто чем богат: кто сыру или бобов, а кто ломоть китового языка.

Злонравный неподвижно стоял на опушке леса и пел. Девушка пошла прямо на его песню и упала перед ним на колени.

Он повернулся и зашагал к себе домой, она – вслед за ним, не проронив ни слова, и вместе они вошли в замок.

На лестнице Сиверт Галевин столкнулся с братом, который только что возвращался с охоты, затравив кабана.

– Что я вижу? – насмешливо спросил он. – Урод намерен подарить нам ублюдка? А ты, красотка, взяла бы лучше меня! Удовольствия, право, ты получила бы больше!

Но Злонравный в бешенстве ударил брата копьем по лицу и взбежал по лестнице в свой покой.

Боясь, что брат бросится за ним, сир Галевин запер двери и раздел девушку донага – и дочь Клааса сказала, что ей холодно.

Он полоснул ее золотым серпом под едва набухшей левой грудью, и, когда сердце упало на лезвие, он выпил из него кровь.

И когда она испустила предсмертный крик, Злонравный увидел, как из стены вышел маленький каменный человечек и, ухмыляясь, сказал:

– Сердце на сердце – вот где сила и красота! Вкусивший крови Галевин повесит девушку на Виселичном поле, и тело ее будет висеть там, пока не пробьет час для Божьего суда.

И, сказав это, опять ушел в стену.

Сир Галевин положил сердце девушки себе на грудь и услышал, как оно громко стучит, прирастая к его коже. Вдруг его согбенный стан распрямылся, а рука исполнилась такой силы, что, пожелав испытать ее крепость, он сломал дубовую...

² В «Девяти Листах» использованы фрагменты из произведений Шарля де Костера, Симоны Шварц-Барт, Николая Гумилева, Саньютея Энте, Андрея Столярова, Роберта Говарда, Брэма Стокера, Генри Лайона Олди.

Чет

*...Я не оскорбляю их неврастением,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выведенного яйца,
Но, когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.*

Н. Гумилев

Как только клейкие молодые листья потеснились на ветках плодовых деревьев, давая место крохотным фиолетовым соцветиям, старый Джессика начал бить меня палкой. Сучковатый кизилковый посох методично гулял по тощей спине, склоненной за перебиранием овощей – нашего основного меню; острым концом въезжал между ребрами, вздымающимися от бесконечной беготни за водой, и непременно родниковой; обидно хлопал по пальцам, тянувшимся к сохнущим на металлическом листе травам...

Синяки прочно облюбовали мое тело, я проклинал драчливость вредного знахаря, совершенно не ценившего новоприобретенного дарового слугу – а именно таковым я и был склонен себя считать! – и если сто раз я собирался удрать от выжившего из ума Джессики, то сто раз меня останавливало одно обстоятельство, никак не лезущее в рамки происходящего. Ну хоть какой-то из ударов взял да и вызвал бы на лице старика улыбку или другой признак видимого удовольствия! – ничего подобного, Джессика лупил меня с таким хмурым видом, словно выполнял тяжелую, нудную, но жизненно необходимую работу, давно ему опротивевшую, и лишь по природной добросовестности...

Так же добросовестно все передаваемое из дома мясо скармливалось берийскому волкодаву Чарме, весьма довольному таким оборотом дела, в отличие от меня, чей впалый живот набивался исключительно гнусной безвкусной зеленью; и столь же добросовестно, два раза в день – на восходе и на закате, – седой знахарь ходил обнимать дерево. Он выбирал один и тот же ствол могучего, обугленного молнией бука, возле которого и застывал надолго, приседая на полусогнутых ногах и охватив ладонями коричневый торс лесного патриарха на уровне груди. Веки опускались на выпуклые глазки, Чарма ложился поодаль, рыча на меня и наглых голубей, появлявшихся вблизи его драгоценного повелителя, и тишина спускалась в окрестностях потрепанной лачуги, пользовавшейся у местных жителей дурной славой.

Подталкиваемый любопытством, я иногда пытался подкрасться к Джессике, но выражение Чарминой морды живо охлаждало мой пыл; а когда берийский зверюга прикончил пятнистого горного пардуса и, изорванный, но гордый, отлеживался на задворках – я вновь приблизился к старику, обнимавшему дерево, – и очнулся ярдах в трех от бука; вот до сих пор и не знаю, что меня отшвырнуло – незаметный толчок знахаря или сук возмущенного дерева...

Из чувства самолюбия или противоречия я выбрал себе ствол поменьше, с узорчатой бархатистой листвой, и, обхватив его, застывал в надежде представить таинственные ощущения старого Джессики; но, ободрав о кору голый живот и отвлеченный жужжанием мухи, я разочарованно сопел и отваливал от ствола, высунувшего язык Чармы и близкого к тому же Джессики.

Спустя некоторое время старик разжимал руки, отпуская свое дерево. И брал палку.
– Би, а что бы делал ты, если бы тебя били палкой?

Мы сидели на холме, лениво поглядывая на сельских валухов, поставленных под командование моего приятеля. Надо заметить, что за последнее время веселый Би потерял изрядную толику своего жизнелюбия, погрузился и никогда больше не пытался заглянуть под мой рукав. Кроме того, он стал раздражителен, и в поведении его стала сквозить усталость и знание чего-то личного, тайного и последнего. Редко мог я, сбегая от заснувшего знахаря, перебравшего домашних целительных настоек, – редко мог я видеть белозубую улыбку веселого Би, и даже зубы его, казалось, похудели и вытянулись.

– Наверное, я дал бы сдачи, – Би задумчиво почесал босую пятку.

Я представил себя, дающего сдачи старому Джессике, и Би обиделся на мое хихиканье, и долго пришлось уговаривать его высказать новый итог размышлений на заданную тему.

– Я бы уворачивался, – наконец протянул он и лег навзничь. – В конце концов, маленькая Биарра тоже лупила меня игрушечными граблями, и что я мог сделать? Только уворачиваться...

– Какая еще Биарра?

– Сестра моя. Младшая...

Я покрутил пальцем у виска.

– Би, тебе солнце напекло, да? У тебя нет сестры, да еще младшей!.. У тебя есть брат, старший, которого за уши не оттащишь от его верховых свиней, ну, отец, мать там... А сестры нет. Может, двоюродная?

В ленивой позе Би появилась какая-то настороженность, но голос остался прежним – ломким и тихим.

– Ну, нет... Чего ты прицепился? Конечно, нет. И не было...

Показного равнодушия явно не хватало, чтобы полностью скрыть напряженное желание утопить вспыхнувшую тему в трясине уступчивых слов. Я привстал, поглядывая под козырек его травяной шляпы, – и плотная стена пыли за холмами отвлекла мое внимание. Би поднялся, молча стал рядом, и мы вгляделись в движение серого занавеса.

Металл блестел в пыли, кожа лоснилась от пота, золото сбруи и хищный оскал кошек на налобниках... высокие шлемы, металл, кожа и хищность, и много еще всякого в пыли, и она свернула к селению. Би засуетился и уже откровенно стал меня выпроваживать; мы пожали друг другу руки, в голове моей мелькнула странная мысль, мелькнула и исчезла, и, ловя ее пушистый ускользящий хвост, я погрузился в кустарник.

Спустившись, я обернулся: крохотная фигурка некогда веселого пастуха семенила к темнеющему вечерними провалами лесу, и одинокий всадник, вырвавшийся из пыли, все гнал и гнал оступающегося коня на крутой склон холма. И, убегая от греха подальше, я догнал наконец удравшую мысль, но беглянка не внесла ясности в сегодняшний сумбур.

Какая уж тут ясность, если исцарапанная и загорелая рука Би, открывшаяся по локоть в прощальном рукопожатии, была покрыта пятами – нет, все же четырьмя браслетами!.. Ну не мог же даже самый отчаянный мальчишка за такой короткий срок уйти в темноту еще два раза? Не мог. Но смог. Что же дважды забирало жизнь у веселого Би и забрало его веселье – подарив раздражительность, угрюмость и мифическую младшую сестру с ее дурацкими граблями...

Я не знал ответа и, конечно же, не ожидал его от обнимающего дерево Джессики.

Я не знал ответа – и тихо встал рядом, обхватив второй ствол. Впечатления скакали в голове, пыль засасывала бегущего Би, острые грабли впивались мне в шею, отворяя редкие капли крови, – плевать мне было на дерево, и на знахаря, и на все его ощущения; ствол казался родным, теплым, тепло стекало по туловищу в ноги, сгибая их и разворачивая коленями вовнутрь, голова опустела, и в округлившемся животе зашевелился первый росток неведомого...

Треск удара кизиловой палки отбросил меня от шероховатостей коры. Я сидел на корточках, изогнувшись сумасшедшим кустом, змеей в кустах, птицей на ветках, и палка старого Джессики врезалась в ствол как раз в том месте, где за мгновение до того был мой затылок.

«Что ты делал бы, Би?..»

«Я бы уворачивался».

Я увернулся! Посох вновь поднялся надо мной, но левое предплечье скользяще приняло косо́й удар, и внутренне я уже ликовал в предчувствии... Как же!.. Проклятый Джессика неуловимым жестом перекинул посох в другую руку, и я увидел его глаза, когда острый конец бережно и заботливо ткнул меня в открывшийся бок. Радость сияла в выцветших глазах, удовлетворение, сумасшедшая радость и искреннее удовлетворение – от промаха!

На следующем восходе Чарма охранял двух идиотов, обнимавших деревья.

Старый Джессика бил меня палкой – я уворачивался. Он бил – я уворачивался. Он бил – я...

Нечет

– ...Ларри, я по возвращении засуну твой раздвоенный язык в гарнизонный нужник! Повторить?

– Да ну, Муад, кончай греметь зубами... Мало ли кто померещился тебе на этом земляном прыще! И даже если там и торчал вонючий сопливый пастушонок – почему ты знаешь, что это наш?!

– Ты Устав читал, трепач драный?! «Жениха и невесту, и мужа с женой, и всех близких Не-Живущему по крови – дабы лишенный пищи Враг, источник бедствий людских, ввергнут был в Бездну Голодных глаз». Ввергнут был, уяснил?! Повторить?

Хмыкнул на сказанное капрал Ларри и всю обиду вогнал вместе со шпорами в бока бедного животного, никак не желавшего ломать породистые ноги на рыхлой крутизне. Ну и опять же сам капрал отнюдь не собирался ломать шею в виднеющемся лесу, даже если и действительно умотал туда местный щенок. Надо быть придурком, чтобы в форме сунуться к лесным братьям, – а уж они-то способны надеть герою последние браслеты почище длинноруких дворцовых палачей, потерявших фантазию на казенном довольствии...

Сколько там Уходов сохранилось у хитроумного капрала? Ну, первый – это от рождения, потом сарыч горный с уступа скинул, чтоб яиц не воровал, третий надел на дороге в Город, щедро поливая ее красным соком молодого глупого Ларри – тогда еще перегонщика плотов, четвертый мечом надел на испытаниях лично сотник Муад, ловко надел, однако, сволочь, аж кишки повылазили, ну и варвары – пятый...

Нет уж, дудки, это, значит, четыре дня помирать в их чашобных берлогах – пусть сотник сам Устав перечитывает! Пошел он к варку...

В деревню Ларри влетел как раз вовремя: солдаты уже отыскали нужный дом, указанный в доносе, и ворвавшийся первым Муад распахнул по ошибке ворота свинарника. Матерый ездовой секач с неистовым хрюканьем подмял под себя орущего сотника, ковырнул клыком неподатливый панцирь и под хохот ветеранов чесанул по улице, одним поворотом мощного загривка оставив лошадь капрала со вспоротым животом размышлять у забора о бренности существования.

Из свинарника уже высовывались рыла поменьше, но с тем же недовольным выражением, когда помятый Муад в бешенстве ринулся в дом.

– Эй, Ларри! – И упирающаяся старуха забила в волосатых руках сотника. Нож понимающего капрала чуть не отсек носы любопытным молокососам, еще не видавшим знаменитый «летающий цветок сливы», и всем своим широким лезвием оборвал визг растрепанной бабы. Довольно ощерившийся Муад небрежно скинул тело набежавшим труповозам и медленно обернулся к выбегающим из дверей мужчинам.

Звездный час сотника Муада! Много их, таких часов, было у него, когда доведенные до отчаяния люди (впрочем, какие там люди – вражья жратва – и все!) давали сотнику возможность для урока новобранцам. Истерические дерганья протрезвевшего папаши Ломби, тупая звериная ярость старшенького, вилы их никчомушные, – неужели для этого стоит греть ладонь об эфес короткого меча с почетным набалдашником Серебряных Веток?.. Разумеется, не стоит. Отчего бы не приколоть неразумных селян их собственными вилами? Действительно. И приколот. Под аплодисменты сопляков и одобрительные взгляды изрубленных ветеранов. Легко приколот. Даже изящно. Жаль, кабан ушел. Хотя и оставшегося молодняка с избытком хватило на всю сотню. Тоже, надо заметить, свиньи порядочные были...

А тела семейства Ломби мерно подпрыгивали в телеге, едва поспевающей за арьергардом скачущих. Завтра, завтра они вернутся в мир – и лучше бы им не возвращаться – для принятия ритуальной ступенчатой казни, «положенное число раз и до полного умерщвления», когда

последние браслеты несколько дней будут надеваться на корчащихся людей, вновь возвращающихся для новых Уходов, – «и всех, близких Не-Живущему по крови, дабы лишенный пищи Враг, источник бедствий людских, ввергнут был в Бездну Голодных глаз...».

Жаль, кабан ушел. И поросенок ушел. В лес. Куда там было обещано засунуть язык нерадивого капрала Ларри? Ах, ну да...

Лист второй

*...И в каждом саване – видение,
Как нерожденная гроза,
И просят губы наслаждения,
И смотрят мертвые глаза.*

К. Бальмонт

...освещенный дымным пламенем костра зал. Голая, невиданно худая старуха сидела у очага, скелет из черных лоснящихся костей, и высохшие длинные груди ее, подобно плоским побегам табака, ниспадали до самого низа живота. Кривой палкой, зажатой в обеих руках, она помешивала омерзительное варево в огромном глиняном котле, тысячи мух гудели над ней, ползали по впалым щекам, укрывались в ее сальных лохмах.

Когда Малыш иа-Квело подошел поближе, она задрала острый подбородок и нараспев произнесла:

– Ох, ох, ох, бедолага, бедняк неприкаянный, да неужто он не знает, что не стоит самовольно совать руку слону в задницу, а то беды не миновать – скажем, встанет слон, и виси после у него под хвостом!..

Она покачала головой, словно выражая сочувствие заблудшему, которому грозила страшная участь.

– Неужто он не знает, что прийти ко мне легко, а вот выбраться потруднее будет?..

Малыш иа-Квело почтительно обнажил плечо под пристальным взглядом оскалившейся Длинногрудой Королевы и промолвил, улыбнувшись:

– О моя Королева, этот бедолага давным-давно ничегошеньки не знает... Испокон веков бродит он по этому необозримому миру в поисках дорог ведущих и дорог выводящих, а знай он дороги – разве пришел бы сюда?

– Да уж, – усмехнулась старуха, блестя хищными, не по возрасту, зубами, – знал бы дорогу, не пришел бы к порогу...

Она протянула стынущие руки к очагу, долго качала головой и наконец спросила голодным голосом, на дне которого сливались угроза и обещание:

– Славный ты малый, хотя и подлизаться не дурак. Подойди-ка ближе, посмотрим, сумеешь ли ты умастить бальзамом мою спину так же ловко, как словами мою душу...

Старуха протянула Малышу зеленоватую склянку и, не вставая, подставила свой длинный и узкий волосатый хребет с выпирающими, как рыбы кости, острыми позвонками. Молча взял иа-Квело склянку, и вскоре руки его стали кровоточить, покрывшись порезами. Казалось, старуху опьянил запах крови, она то и дело поворачивала к нему свою исходящую пеной морду гиены с острыми белыми клыками, будто готова была вцепиться ему в горло.

– Скажи-ка мне, любопытный странник, что мягче – моя спина или твои ладони?

– Твоя спина, – ответил Малыш иа-Квело.

И в тот же миг увидел перед собой дивную спину девушки с круглыми крепкими плечами и бедрами, изгиб которых...

...приподняла до бедер свои мерзкие лохмотья и, слегка раздвинув ноги, начала выстукивать на тощем животе мерный ритм; она барабанила, а из-под подола выскакивали крошечные серенькие существа с ярко-рыжими волосиками на остреньких затылках, и все они под застывшим взором Королевы, зрочки которой утонули в белом взгляде страшной шоколадной статуи, – все они улетучились из пещеры по ведомым им делам, а старуха вернулась к очагу и простерла руки над огнем; тело ее тяжело сотрясилось в робких лучах заходящего солнца, не

осмеливавшегося войти под низкие своды, ее били корчи, и гость неслышно сидел в дальнем углу зала.

Так прошло три дня, и снова превратилась Королева в девушку с ослепительными белками глаз; но, когда на смену красавице возвратился живой скелет, Малыш иа-Квело с удивлением почувствовал, что не испытывает такого отвращения перед ним, хотя так до конца и не свыкся с тяжелым духом, окружавшим ее, с царапающим слух голосом; он смог даже делить ложе с этим обтянутым иссохшей кожей призраком, избегая смотреть ему в глаза, но иногда даже волнуясь за старушку.

Доверившаяся Малышу возвращавшаяся девушка с блестящим взглядом, – она поведала ему о кошмарах детства своего, о приобщении, о злодеяниях своих в старом, сморщенном обличье, чуждом даже для нее самой, о выпитой крови забредавших в пещеру Скитальцев; она кормила иа-Квело фруктами и поила только родниковой водой, потому что от иной пищи тело его приобретало слишком дразнящий запах; она давала ему капли своей рубиновой крови и с ними же пекла особый медовый хлеб с бурой корочкой, и Малыш звал этот хлеб любовной приманкой, и нутро его содрогалось от мягкости хлеба...

Так прошла вечность, потом еще и еще одна вечность, и тускнела память Малыша, и солнце стало обжигать кожу его, черную кожу сына солнца, а старуха сидела у очага в мертвом, сонном оцепенении, а девушка была такой же ослепительной, как и в первый день, и бледнеющий Малыш стал понимать, что имела в виду Длинногрудая Королева, говоря о...

Чет

*...Лук сломан,
Стрел больше нет,
Время стучится в виски,
Не лелей робеющего сердца,
Стреляй без промедления.*

Буккоку Кокуси

«Змее же свойственна гибкость и яд, тигру – ярость и мощь удара, крепок загривок у лесного медведя, и подпрыгивает орел, взмахивая крыльями, обезьяна хватает неведомое, труслива и быстра крыса – и неискушенный теряется в вечной изменчивости признаков, а растерявшийся издает звуки жертвы, и податлива для охотника такая добыча.

Знающий же различает скрытое и знает простое – более великое, нежели обилие признаков и умений. И знает он, что стелется по земле змея, не имея конечностей от рождения своего, кошка прыгает, куда захочет, и нет разницы между любыми из четырех ее лап, и есть у пернатого пара крыльев для полета и пара когтистых ног для ходьбы и ловли, и несходны меж собой пары конечностей птицы.

Три уровня обнимают сущее: земля, мир и небо, и три образа живут в нем – птица, кошка и змея, потому что вставший на дыбы медведь разделяет лапы свои и, уподобившись птице, валится на врага сверху, и подобен змее припавший к земле пардус, жалящий единым убийственным броском.

Когтистые ноги имеет птица и огромные распахнутые крылья, и не позволяет она приблизиться к себе, потому что податливо птичье тело, легко рвется оно; бьет птица всей тяжестью могучих крыльев, когтями хватает добычу, рушась на подмятую жертву, топча ее, но отлетая при малейшей угрозе, – и трудно прорваться сквозь хлопанье, мельканье и взмахи разнолапого...

Но кошка способна на это, ибо любит она близкое объятие, рвется к нему, сжавшись в упругий ком, и, прыгая вперед, все четыре короткие лапы свои обрушивает она градом непрерывных ударов, покрывая врага ранами и не давая опомниться; бессильно режут воздух огромные крылья, не могут они сбросить вцепившегося в грудь, перья летят во все стороны, и трудно справиться со спрессованной яростью одинаковолапого...

Но змея способна на это, ибо лишена змея конечностей и ядовита, и холодна, и только лед змеиных колец может ждать чужого нетерпения, удара неосторожного, и дождетса своего змея, но объятие ее короче, чем у кошки, – тяжело стряхнуть обвиняющую смерть, и ударить нелегко по узкой пружине... Быстр поцелуй змеи, ядовит он, никто не подставит змее лазейки, но сама найдет она место и время для укуса, ужасен бросок гадины, невозможно спасение, – но птица способна на это, падая сверху, ударяя всей длиной крыла, хватая кольца когтями, и бьется гибкость в жесткости; и так замыкается круг...

Поэтому знающий не мечется по сторонам, следуя многочисленным различиям, и не выпячивает перед глупцами разнообразие искусства своего, но следует основе, и на враждебность змеи меж людей падает с небес крепкокрылым орлом, на жесткость орла гордого – мягкими кошачьими лапами отвечает, тело рвущими; и огненный взрыв кошки разбивается о ледяную невозмутимость единственного жала... Потому устроен так мир, что птицы в нем змей пожирают, кошки же любят птичье мясо, а не наоборот, и змея жалит протянутую лапу без промедления.

И есть дракон в мире, имея змеиный хвост, птичьи крылья и лапы кошачьи четыре, и подобен он всем троим, летая в небесах, по земле бегая и стелясь, как змей, – а человек подобен дракону, и на многое способен человек...»

Что же ты знал такое, старый Джессика, чего не знали многие, что хотел ты и сумел передать мне, молчаливый целитель, невинный убийца, толстый, одышливый, старый больной человек, подобный дракону?!

Нечет

Собака оплакивала умершего повелителя, лохматая преданная плакальщица, и захлебывающийся вой ее метался в сизых завесах туч, разбивался об угрюмо молчащие холмы, путался в ночной листве осиротевшего бука; выл, надрывался верный Чарма, забывая зализывать свежие раны, – а над опрокинутым иссеченным телом сидел гибкий высокий юноша, неподвижный и ссутулившийся, и обнажены были правые руки Живущего в последний раз и Ушедшего в последний раз, бесстыдно обнажены, умер стыд, и видела луна одинаковые девять браслетов.

Долгую жизнь определила судьба старому Джессике; выбрала жизнь из сумки везения все положенные ему Уходы – последний остался, и тот разыграли за него лесные братья в зеленых капюшонах, улыбочивые дикие дети, легко трясущие кости чужих игр. Кости...

Молчал знахарь. Топтали бездумно и беззлобно травы редчайшие – молчал, пальцы разбойные по ларям шарили – слова не проронил, и за бороду дергал смешного старика атаман Ангмар; предание гуляло о волосатых Ангмарах, людях с головами псыми, и зарычал низко квадратный волкодав, врага почуяв.

– Приколи собаку! – властно кинул оскалившийся Ангмар, и коренастый бородач умело ткнул подобрывшегося Чарму зазубренным дротиком. Хаживал бородач на волков, на медведя с рогатиной хаживал, только тяжело вспоминать о победах охотничьих с глоткой вырванной, потому как незнаком был для хрипящего ловчего страшный бросок боевых берийских собак.

Сразу понял все Ангмар, ловко понял, славно понял – взвыл Чарма с лапой разрубленной, и братья лесные без главаря остались, нельзя в атаманах ходить с перебитой шеей, даром что холка твоя пошире бычьей...

Так и случилось дикое, и застал вернувшийся из деревни ученик – застал остывающее тело учителя, и изрезанного воющего Чарму, и лошадь дрожащую, в спешке забытую, – трупы своих-то братья в лес уволокли, встанут ведь дружки назавтра, браслеты почесывая, как пить дать встанут, им еще жить да жить, кому по три, кому по пять раз, и кровавым спросом спросят с бросивших их, – тяжело нести восемь трупов, дорого плачено за бешеного травника с выродком его натасканным, людоедом, но что поделывать, раз так...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.